ИЗВЕСТИЯ — 1991. — 22 ноября

ВЕК В ЛИЦАХ

Альбер КАМЮ

ЧИСТИЛИЩЕ

ОСЕНЬЮ 1957 года Нобелевское жюри сделало один из самых безупречных своих выборов, присудив премию французскому писателю Альберу Камю. Он получал эту награду в полуденном расцвете сил — ему было всего 44 года. Высшее в литературном мире признание, которого многие корифеи ожидают всю жизнь и достигают порой в одряхлелом величии, пришло к нему, когда голова его еще не поседела и, казалось, многое ждало его впереди.

На торжествах в Стокгольме он произнес негромкие и мужественные слова не о тяготах ремесла, не о заботах и бедах литературной профессии и даже не о военной или экологической угрозе. О принципах поведения человека в мире. Всякого человека. Во всех концах света. Уподобив бренную нашу жизнь плаванию на корабле невольников, он говорил, что галера, к которой мы прикованы, пропахла селедкой, на ней слишком много надсмотрщиков, и, возможно, мы гребем не в ту сторону, но все же нельзя бросать весла.

Это не было цветами галльского красноречия. Тревога Камю адресовалась всему цивилизованному человечеству: верующим и неверующим, Западу и Востоку, капиталистам и социалистам, и представляла собой горький плод мудрости, выстраданной опытом XX века: вопреки всему и что бы ни случилось — надо грести. Отчаянию, ведущему к апатии и бездействию, Камю противополагал стоическое мужество: лишенный и капли утешения, отнюдь не романтический ответ.

Вспоминаю, как при первом еще «самиздатском» знакомстве русского читателя с Камю, в конце 60-х годов, в пору сползания в глухую реакцию, круг Твардовского — редактора удушаемого правительством и цензурой журнала «Новый мир» — находил созвучие и опору в этих мыслях Камю. Впрочем, во французской культуре у Камю тоже были свои предшественники. Задолго до изобретения экзистенциализма, мудрость вольнодумцев и стоиков, начиная с Блеза Паскаля, опиралась на пословицу, которой в трудные минуты утешался Лев Толстой и которую в России запомнили с его слов: «Делай, что должно, и пусть будет, что будет».

Нобелевская речь стала последним сочинением Камю, занявшим внимание просвещенного мира. Спустя два с небольшим года, в январе 1960-го, он погиб в автомобильной катастрофе. Среди первых известий о гибели писателя были и такие, будто ящики его письменного стола оказались пусты: ни одной законченной рукописи, ни клочка бумаги, какие могли бы заинтересовать публикатора и исследователя. Впоследствии известие это было опровергнуто, но от случайной трагедии на зимних дорогах Франции осталось впечатление предопределенного конца, может быть и самоубийства, хотя этому не находилось никаких доказательств. Казалось, он совершил все то, что призван был совершить, и замолк. Будто некая сила, исчерпав предназначенную ему роль, увела своего любимца с исторической сцены.

СЫН сельскохозяйственного рабочего, погибшего на Марне в первую мировую, Камю вырос и воспитался в Алжире. И ненависть к войне, как к кровавой бойне, по милости которой он остался сиротой, соединилась в нем с другой язвящей воображение несправедливостью, отношения европейцев к арабам как нации низшего сорта. Он кончал университет в Оране, городе, описанном в «Чуме». Здесь говорили по-французски, но это был не Париж. Совсем другая страна — с полуевропейскими нравами и экзотической природой африканского побережья, где свежий морской ветер мешался со знойным дыханием песчаных пустынь. Среди местных французов был силен комплекс колониальной окраины, то униженной сверх меры, то гордившейся своей удаленностью от столиц, со множеством странных иррациональных черт в быте и понятиях.

Тут многое навевало настроения, не схожие с рационализмом, вскормленным французской культурной традицией и внушавшим известного рода физиологический оптимизм: все будет хорошо, потому что нехорошо быть не может. И пусть неудачи, бедность, национальная рознь, грызня между партиями, угроза гитлеризма, а все же где-то глубоко внутри, быть может в области желудка, где переваривается жареный цыплёнок, залитый глотком доброго бордо, сохраняется счастливая уверенность, что все как-нибудь да уладится, устроится, «образуется», как говорил толстовский Стива Облонский.

Молодой Камю был журналистом, актером, режиссером, пытался создать свой театр. Но ему менее всего было свойственно «игровое», празднично-бездумное отношение к жизни. Его мучила и жгла тревога за людей, удивление их беспечностью в главном, беспокойство за пропадающий смысл жизни. И это при том, что он не был аскетом. Напротив, ему дано было острое чувство жизни, всех ее радостей и наслаждений, еще, быть может, удесятеренное ранним туберкулезом. Алжирское солнце, прибрежный песок, запахи моря и полыни, как и красота тела, мужественная сила, привлекательность женщины — это был мир, притягивавший его неудержимо. Но оттого как раз, что он так жадно любил горячую плоть жизни, он так рано научился размышлять о смерти.

С прозрачностью личного открытия Камю обнаружил, что мир, окружающий его, абсурден, ибо он не укладывается ни в моральные прописи, ни в социальные надежды, ни даже в ходячие понятия о религиозном законе. Нет морали, нет будущего, нет и бессмертия души. И с той же энергией, что его великие соплеменники и философские предки, все эти Декарты, Даламберы и Дидро строили здание Разума, хрустальный дворец Просвещения и Доброго сердца, Камю принялся атаковать его скептическими вопросами. Не щадя ни чужого покоя, ни равновесия в собственной душе, он хотел заставить вздрогнуть всякого, еще не заплывшего жиром самодовольства или не вконец отчаявшегося современника.

Возможно, Камю не покажется таким необходимым в пору здорового развития, свободного парения сил, духа народа. В годы смуты, неуверенности и потери цели, когда журнализм заменяет философию, эротика — любовь, мистика — религию, астрология — астрономию, он надежный собеседник тому, кто не разучился думать.

Его книги — жесткая констатация ужаса бытия, лишенного Божьей благодати, и в то же время опора для мужественной ориентации в своем веке. То, что дает возможность, даже заглянув в черную пропасть отчаяния, найти в себе силы жить деятельно и осмысленно.

СЛОВ нет, Камю — автор не для легкого чтения. В своей прозе он часто жертвует не только занимательностью, но даже живой картинностью. Тонкий стилист, он тяготеет к суховатому графическому рисунку. О, конечно, он, как мало кто, умеет изобразить белые дома, прокаленные солнцем, соленые брызги моря, красноватые глыбы скал, воскресить запах розмарина и тамариска. Он может отлично воссоздать характеры, сцены, но тут нет ничего от заманчивой театральной игры, как нет и тяги к изощренному эпитету, изнеможения от борьбы за совершенство слова. Комический персонаж «Чумы» Гран не может пойти в своем сочинении дальше первой фразы, потому что бесконечно ищет, заменяет и переставляет эпитеты, описывая амазонку, скачущую по аллеям Булонского леса. Тяга к совершенству заменяет ему порыв и силу смысла, которым претит мелочная отделка.

Камю как бы даже не давал воли, сдерживал свой талант живописца и всю силу художественной энергии перенес в область психологии и мысли. Мысли, непрерывно текущей, блистающей неожиданными поворотами и оттенками, бесконечно красивой, сложной и вместе с тем скульптурной, так что можно, кажется, взять на ощупь все изгибы ее рельефа. Мысли, которая спаяна с чувством страстностью пережитого и до такой степени окрашена личным отношением, что никак не может быть воспринята как холодная риторика или абстрактная философия: это искусство. «Здесь человек сгорел», — как сказал старый русский поэт.

ЕСТЬ несколько коренных идей и тем Камю, которые, повторяясь, варьируясь в разных его книгах, точно передали состояние душ в XX веке. И первая из них — ощущение Абсурда, запутанности и зыбкости моральных норм, всех правил и устоев, по которым столетиями учили жить человечество его лучшие наставники. Призывы к ясному нравственному сознанию представляются Камю не только банальными, но и тщетными, а в попытках найти смысл существования вне каждой человеческой жизни он обнаруживает ущербность или неискренность. Судьба человечества напоминает ему старый миф о Сизифе, который по жестокой воле богов поднимает на гору огромный камень, скатывающийся вниз под своей тяжелостью, и он вынужден начинать все сначала. Сизиф обречен на бесконечную работу без награды, надежды и воздаяния. Но в уделе Сизифа, согласно Камю, есть своя гордость — отсутствие обольщений и верность себе. В недавние времена у нас появилось изрядно своих домашних самодельных «абсурдистов», которые ненавидят претензии Разума, не признают нравственного суда. Их заранее отвращает всякая попытка понять и оценить — в философии ли, общественном быте или искусстве. Исторически это объяснимо: так настрадались в тоталитарном, насквозь идеологизированном мире, так обкормлены принудительными, однозначными оценками, что потеряли всякую охоту оценивать что-либо. Прочитайте современные рецензии на фильм, спектакль или книгу: «безоценочное» — значит хорошее, «непонятно» — значит подлинное. Нет ничего дальше от Камю, чем этот самодовольный «абсурдизм». Сизиф вовсе не радуется бессмыслице своей работы, и сам Камю глубоко страдает от неразрешимости духовных проблем. Его Абсурд — несчастье, кара, боль, открытие, несущее горестную свободу, но отнюдь не самодовольная игра.

«Никогда не надо притворяться» — говорилось в повести «Падение» (1940), принесшей Камю первый заметный успех. Герой повести Мерсо — обычный, заурядный человек, но он отчасти «не от мира сего», поскольку одарен какой-то естественной, спокойной, почти автоматической искренностью. Эта ошеломляющая искренность сродни интеллектуальному мужеству, абсолютной честности перед собой самого Камю.

Люди знают, как «принято» себя вести: как полагается вести себя у гроба матери, перед публикой, с любовницей или защищающим тебя адвокатом. И поступают так или иначе не в натуральную меру того, что чувствуют, а по неписаным правилам: чаще всего делают и говорят именно то, чего ждут от них. Мерсо все делает наоборот. Невероятное стечение обстоятельств привело к тому, что на раскаленной полосе пляжа, в нелепой стычке он убил араба, и не находит иного объяснения этому преступлению, кроме самого правдивого и глупого: «Все вышло из-за солнца». Суд же действует по букве закона, головы публики забиты банальными прописями, и Мерсо приговаривают к казни, по видимости, вполне справедливо. Но для Камю это, по сути, апофеоз Абсурда. Герой сознает бессмыслицу суда, отнимающего у него жизнь, — то есть то, что никто никогда не будет в силах ему вернуть, а утешения священника кажутся ему фальшивыми.

Камю ищет точку опоры для оторвавшейся от причала барки самосознания человека: но все плывет, качается на ее палубе, подхлестывается то бортовой, то носовой волной. Привычные религиозные и моральные сваи выдернуты — и носится человек в открытом море, не находя ни в чем высшего смысла и все-таки смысла взыскуя.

ЕСТЬ, вопреки всему, моральный императив, и стоицизм — тоже род веры, — это остро ощутил Камю в годы немецкой оккупации Франции. Такое сознание было результатом жизнедействия, а не голого холодного рассудка. Камю участвовал в движении Сопротивления, издавал левую патриотическую газету «Комба», и само понятие сопротивления получило для него твердо очерченный философский смысл. Раз он, не раздумывая, принял необходимость сопротивления фашизму, значит, соблазн мысли об абсолютном Абсурде бытия дает трещину. Надо сопротивляться злу, пусть это «не героизм, а обыкновенная честность», как скажет герой романа «Чума» (1947).

Если бы Камю не написал ничего, кроме этой книги, он все равно остался бы в летописи европейской и мировой культуры: здесь главные его открытия, эссенция мыслей о свободе и долге человека. Сразу после войны книга воспринималась как ответ на опыт недавнего избавления от «коричневой чумы» фашизма. Но, смею думать, содержание романа шире.

Недаром в России, еще на моей памяти, «Чума» была запретным сочинением. Перевод, сделанный дочерью поэта К. Бальмонта, много лет прожившей во Франции, был принят «Новым миром» в середине 60-х годов. Но напечатать его не удалось: Луи Арагон, коммунист и «друг Советского Союза», решительно отсоветовал это нашему послу в Париже. В Москву полетела шифровка, и отдел культуры ЦК, манипулируя щупальцами цензуры, надолго закрыл саму эту возможность. Почему?

Только ли из-за дурной репутации Камю у французских коммунистов, помноженной на профессиональную ревность тех, кто считал себя единственно достойными представлять литературу Франции в «первой стране социализма»? Нет, наверное. Идеи сопротивления всем видам «зачумленности» могли быть превратно поняты в применении к советской действительности. В таких случаях зарубежный автор получал репутацию «путаника», и его писания не должны были смущать умы наших сограждан. В глазах идеологов Камю был типичным «путаником», а его туманный экзистенциализм (слово столь трудное, что его не сумел произнести говорящий кот в одной повести Валентина Катаева и в результате сдох от огорчения), наводил тень на истины самоочевидные в ясном свете домашнего марксизма.

ЧТО делать, как держать себя, если на ваш родной город внезапно нападет чума?

Роман Камю — подробная и для нетерпеливого читателя местами утомительная хроника чумного мора, средневекового бедствия, залетевшего в XX век. Камю описывает этапы эпидемии с бытовыми деталями и медицинскими подробностями, заставляющими вспомнить замечание Чехова об одной своей повести: от нее слишком «воняет больницей и покойницкой».

Но это лишь внешний фон. Роман читается как наисовременнейшая притча, развернутая метафора о поведении людей в пору исподволь подкравшейся беды. Мы все устроены так, что стараемся долго не верить надвинувшемуся на нас несчастью. Одна, две крысы, внезапно появившиеся в подъездах алжирского города Орана и с легким писком околевавшие на лестничных площадках в странном предсмертном кружении, одна-две смерти от непонятной болезни... Ну, что особенного? И вдруг лавины отвратительных серых зверьков с хищными мордами, вышедших на улицы и во дворы города, эпидемия, косящая людей тысячами, без разбора, и часто добродетельных с большим успехом, чем грешных.

Один из героев книги высказывает невеселую мысль, что «единственный способ объединить людей — это наслать на них чуму». И все же люди ведут себя по-разному. Одни, растратив начальный пыл героизма и разуверившись в победе, поникают и сами становятся жертвами страшной заразы. Другие сопротивляются до конца, даже не рассчитывая на успех, из одного упрямого чувства долга. Доктор Риэ вводит вакцины, вскрывает чумные бубоны, организует с друзьями санитарные дружины, никак не претендуя на «героизм». «Спокойное мужество» — вот слово, какое находит Камю для лучших своих героев. Единственное оружие против чумы — это быть честным, утверждает автор, а «быть честным — значит делать свое дело».

Два обычных и понятных человеческих искушения с порога отвергает Камю. Одно — это попытка уклониться от общей судьбы, уехать, остаться в стороне. Журналист Рамбер решает для себя задачу — покидать ему край, подавленный несчастьем, или оставаться? Он оказался в чумном городе случайно, за морем его ждет счастье, любимая женщина и еще не поздно выскользнуть за ворота карантина. «Но все-таки стыдно быть счастливым одному». «Я раньше считал, — говорит Рамбер, — что чужой в этом городе и что мне здесь у вас нечего делать. Но теперь, когда я видел то, что видел, я чувствую, что я тоже здешний, хочу я того или нет. Эта история касается равно всех нас».

Вот модель поведения человека, которого не стыдно назвать интеллигентом. Не «где тепло, там и родина», а родина — где грязь, голод и мор. Понятно, что такой выбор предполагает большой объем духовного содержания, неафишируемое мужество и порядочность.

Другая слабость, по Камю, гордиться собой, торопиться праздновать победу. «Нет, вы не поняли, что чума — это значит начинать все сначала», — повторяет свою любимую мысль автор легенды о Сизифе. И снова, и снова не устает внушать людям: быть верным себе и своему делу даже без надежды на награду и успех. И не смотреть на других со стороны, мня одного себя здоровым и чистым, потому что «зачумленность» — нечто большее, чем конкретная зараза: все люди либо «зачумлены», либо под угрозой социальной инфекции.

Когда-то русский ученый Чижевский, сподвижник Циолковского, установил закономерные связи биологии и социальной психологии с излучениями космоса. Давно замечено, что массовый выход на поверхность грызунов или налеты саранчи имеют свою цикличность. Чижевский установил, что подобную периодичность имеют и годы человеческой смертности, пиковые точки инфарктов миокарда. На этом бы наблюдении и остановиться почтенному ученому, но в начале 30-х годов в провинциальной Калуге Чижевский издал за свой счет небольшую книжицу с хронологическими таблицами, согласно которым массовые социальные возмущения, как-то бунты, войны и революции, также подвержены цикличности, связанной с воздействием космоса. За эту гипотезу, далекую от марксизма, ему пришлось заплатить не одним годом сталинских лагерей.

Скорее всего, Камю слыхом не слыхал о догадках русского ученого-самородка. Но в его Оране, в полном согласии с Чижевским, чума, пришедшая с крысами, внезапно и немотивированно, как античный рок, растет, достигает апогея, и в тот самый момент, когда кажется, что больше нет сил ей сопротивляться, также беспричинно идет на убыль. Крысы уходят, эпидемия угасает, и скоро город вспоминает об этом, как о страшном наваждении, дурном сне.

При таком понимании дела, казалось бы, слишком мало что зависит от человеческой воли, но люди получают уверенность в минучести всякого исторического мóрока, и одно это уже служит подпоркой, чтобы достойно вести себя в самые черные и смутные времена. Вот где окончательно становится очевидным, что экзистенциализм для Камю — не теория, не умозрение. Автор отнимает у доктора Риэ даже сладость упоения победой. Сопротивляться, чтобы победить? Нет. Сопротивляться, чтобы сопротивляться, потому что это единственно достойно человека.

Вам не воздастся раем и Воскресением, говорит неверующий Камю. Вам не воздастся славой и почестями на земле (или они будут не нужны вам). Вам, наверное (и скорее всего), не вкушать сладкого плода победы. Но сопротивляться надо.

КОГДА Камю хочет дать определение современника, обычного городского человека, он делает это в жгучей, как удар хлыста, формуле: «он блудил и читал газеты». Не к тому ли низводит суетная жизнь XX века два некогда безусловных порыва — любовь и страсть к познанию? Чудесное рассуждение автора мы находим в его очерке «Возвращение в Типаса»: «Не быть любимым — это всего лишь неудача, не любить — вот несчастье. Сегодня все мы умираем от этого несчастья. Потому что кровавая ненависть истощает сердце, длительная борьба за справедливость поглощает любовь, породившую ее. Среди шума, в котором мы живем, невозможна любовь, а одной справедливости недостаточно».

Камю отчасти сам наблюдал, но в еще большей мере предвидел то чувствительное и болезненное напряжение, какое возникло к концу века в психологии людей и целых народов в связи с темой раскаяния, покаяния. Перед глазами Камю был парадокс: прошло всего несколько лет после войны, и все «коллаборанты», сотрудничавшие с Гитлером, сначала покаялись, но, оправдываясь, вскоре перешли в наступление, претендуя в глазах общества по меньшей мере на равную правоту с участниками Сопротивления.

В начале 60-х годов журналист Клод Жамэ выпустил книгу «Встречи, не состоявшиеся в 1944 году», где спустя 20 лет попытался усадить за один стол в мирной беседе участников Сопротивления и коллаборационистов. Камю уже не было в живых, да он никогда бы на такую встречу и не явился. Но любопытно, что каждый из охотно откликнувшихся на приглашение коллаборантов оправдывал свое сотрудничество с оккупантами, приводя изощренную систему доказательств своей невинности. Булочник говорил, что не мог оставить соотечественников без хлеба при любой власти, журналист, что без его участия газета еще хуже и грубее служила бы гитлеровцам; петеновский генерал ссылался на военную дисциплину, а полицейский чиновник — на то, что, занимая видное место, избавил страну от более суровых репрессий. Нет предела лицемерию людей не только перед другими, перед самим собой.

Личное раскаяние, национальное покаяние... Казалось бы, что дурного? Но как часто, лишившись искреннего, религиозного содержания, призывы к покаянию приобретают оттенок лукавого, изощренного самооправдания. «Каждый требует, — говорится в повести «Падение», — чтобы его признали невиновным во что бы то ни стало, даже если для этого надо обвинить весь род людской и небо».

Последняя написанная Камю в 1957 году повесть дала возможность писателю сформулировать свое представление о психологии того отряда двуногих, который присвоил себе звание «интеллектуалов» и обычно шествует впереди прогресса. В «Падении» мы выслушиваем исповедь, бесконечный монолог за стойкой бара «Мехико - Сити», «кающегося судьи». Жан-Батист Кламанс исповедуется на фоне искусно написанной декорации ночного Амстердама с его каналами, набережными, освещенными окнами кабаков, огоньками неслышно проплывающих баркасов, нагруженных цветами.

Не веруя ни в ад, ни в рай, Камю соорудил род художественного «чистилища» для своего героя. Радости сильного тела, удовольствия изощренного ума да еще душевный комфорт, когда чувствуешь себя честным и добрым господином, не берущим взяток, помогающим бедным, — что еще требовать от благомыслящего современного человека? Но вот ужасный случай: молодая женщина бросилась с моста в Сену, и герой, ставший случайным свидетелем этого, бежит прочь от опасного места, даже не попытавшись ее спасти. А потом ведет бесконечную тяжбу со своей совестью, жадно желая одного — самооправдания. Он кается — и обличает, бичует себя — и любуется собой. «Раз мы не можем осуждать других без того, чтобы тотчас же не осудить самих себя, — говорит «кающийся судья», — нужно сначала обвинить себя, и тогда получишь право осуждать других. Раз всякий судья приходит в конце концов к покаянию, надо идти в обратном направлении и начать с покаяния, а кончить осуждением».

«Прелесть раскаяния» и его тайная выгода не только в том, что, покаявшись, можно грешить сначала, но, главное, чувствовать себя вправе осуждать других. Начав с любви к свободе, судья кончает мечтою о рабстве, начав с самопокаяния, приходит к обличению. Покаяние напоказ как средство самооправдания, к чему в наши дни так часто прибегают, Камю распознал как некий закон лицемерия XX века. Он учил читателя не лгать себе, не утешать себя, смотреть себе прямо в душу и в ней бесстрашно находить уловки самоутешения, апатии, нравственной лености, нежелания трезво видеть людей и самого себя среди них.

Камю так много рассказал нам невеселого о нас самих, так мало обольщался утопиями и посулами социализма и технократии, что можно подумать, будто горизонт его мыслей о человечестве беспросветно черен. Но это не так. В нем никогда не мог бы найти себе опоры дешевый цинизм или черномыслие, которое безответственно, часто ради одного форсу твердит о конце света, ноет о гибели цивилизации, близком закате человечества. Модному и несколько театральному ожиданию Апокалипсиса Камю противопоставляет философию долга и все-таки не убитой в нем надежды.

«Главное — не отчаиваться, — говорит он. — Не стоит слишком прислушиваться к тем, кто кричит о конце света. Цивилизации гибнут не так легко, и, даже если этот мир должен рухнуть, прежде рухнут другие. Да, конечно, мы живем в трагическую эпоху. Но слишком многие путают трагическое с безнадежным... Когда я жил в Алжире, я всегда зимою набирался терпения, потому что знал: однажды ночью, за одну только холодную и ясную февральскую ночь в Долине Консулов зацветет миндаль. И потом я изумлялся, как этому хрупкому белоснежному покрову удается выстоять под дождями и ветром с моря».

Так рассуждал этот человек, которому не было бы сегодня и 80, но который кажется нам уже далеким гуманистическим преданием европейской культуры — одним из самых интеллектуально сильных и безупречно честных писателей столетия.

Владимир ЛАКШИН.